

18+

СКЛАД



ВИКТОРИЯ БЕЛОМЛИНСКАЯ

Виктория Беломлинская

**СКЛАД**

«Издательские решения»

**Беломлинская В.**

СКЛАД / В. Беломлинская — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-901485-6

Мемуарная проза Виктории Беломлинской с картинками Михаила Беломлинского, там есть истории про разных знаменитых людей. Про незначительных — тоже есть, книга подготовлена Юлией Беломлинской.

ISBN 978-5-44-901485-6

© Беломлинская В.  
© Издательские решения

# Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	7
ВСТРЕЧИ	12
ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ	13
ВСТРЕЧА ВТОРАЯ	21
Конец ознакомительного фрагмента.	27

# СКЛАД

**Виктория Беломлинская**

*Иллюстратор* Михаил Беломлинский

© Виктория Беломлинская, 2017

© Михаил Беломлинский, иллюстрации, 2017

ISBN 978-5-4490-1485-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

**ВСЕ РИСУНКИ – МИХАИЛ БЕЛОМЛИНСКИЙ**



ВИКТОРИЯ БЕЛОМЛИНСКАЯ 60-е рис. М. БЕЛОМЛИНСКИЙ

## ПРЕДИСЛОВИЕ

НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...

Меня иногда называют «Писательница Беломлинская».

Так никогда и не привыкну.

На самом деле Писательница Беломлинская – моя мама.

– Что может написать эта красивая, обеспеченная мужем дамочка!

Вот эту фразу, сказанную редакторшей некоего московского издательства, я запомнила на всю жизнь.

Было очень обидно за маму. Тогда, в тридцать с чем-то лет, мама была совсем еще с виду Бедная Девушка,

и слово «дамочка» с ней категорически не вязалось.

Писала она о нищих стариках, о матерях-одиночках, о военном детстве, голоде, дистрофии.

В то время бытовала шутка: «Соцреализм – это конфликт хорошего с еще более прекрасным».

Ну а старый классический реализм – это всегда конфликт плохого с еще более кошмарным.

Вот такую «тяжелую» русскую прозу и писала моя мать. Пыталась напечатать – безуспешно.

Я помню, как в тогдашнем питерском прогрессивном журнале «Аврора» сняли уже сверстаный рассказ.

Прочтя его, читатель может подумать, что у нас все только и делают, что стоят в очередях!

Ну конечно, кроме как из рассказа моей мамы о старухе-перекупщице читателю неоткуда было бы узнать о наличии очередей...

Постепенно сложился узкий круг поклонников и покровителей маминого творчества.

Юрий Нагибин долгие годы пытался пробить стену, воздвигнутую перед ней.

Писал рекомендательные письма, упоминал маму в своих интервью. Все – впустую.

У мамы хранятся письма от женщин-редакторш, о том, как»...не спала всю ночь, читала не отрываясь...»

А потом «... к сожалению, наш главный... в наших планах... отдел культуры...»

– Да смените вы ему имя, этому вашему отцу из повести! Евреи, армяне – ну куда такое!

А может в «Дружбу народов?»

В «Дружбе народов» сказали, что армян принять согласны, а евреев принимают только на языке идиш и только от жителей республики Биробиджан. Вот такая незадача.

Действительно, поменять бы... А как поменяешь отца и мать?

Еще ее все время обвиняли в пессимизме.

Ну да, мама у меня невезучая: вовремя вырваться из блокадного Ленинграда и заболеть дистрофией в относительно благополучной эвакуации – это конечно не каждый умудрится. А голодали, потому что дед так торопился посадить их в какой-то последний грузовик, что не дал собраться как следует. Вот и нечего было продавать. Вот и голодали – в тыловой Астрахани.

Интересно, как это можно изменить собственное детство – выпирающие ребра, наголо обритую голову.

Наверное, с этой бритой головы началось ощущение, что она – урод. С этим она так и прожила до самой юности.

А дальше сказка о гадком утенке. Вдруг в одночасье выяснилось, что мама – красавица.

Настоящая – точно такая, как показывают в итальянском кино. Туда, в сторону кино, она и направилась.

Поступила в школу-студию МХАТа. Год проучилась с Высоцким на одном курсе.

А потом при попытке перевестись в наш питерский Театральный как-то глупо вылетела – из-за несданного экзамена.

Больше она никогда нигде не училась, и вот это отсутствие бумажки о высшем образовании тоже сыграло роковую роль в ее писательской судьбе.

Мама работала в типографии, потом продавщицей в книжном магазине. У красавиц, желающих честно трудиться, всегда есть еще два пути: если ноги от ушей – то в модели, а если покорооче – то в натурщицы. Там, в натурщицах, мама познакомилась с отцом. Вышла замуж. Потом родилась я...

Писать мама начала после тридцати. Помню, когда мне было пятнадцать, в Коктебеле мы познакомилась с Беллой Ахмадулиной. Белла, про которую все говорили, что она не замечает других женщин, а общается только с мужчинами, прочла мамину прозу и очень даже маму заметила, пришла в маленькую сторожку, которую мы снимали, специально высказать маме свое восхищение и пригласила нас в Волошинский дом – на свое чтение...

Мама писала «в стол». Левые звали ее к себе, но она как огня боялась Гэбухи, говорила, что красивых женщин они с особенным усердием стараются на чем-нибудь подловить, чтобы, шантажируя, завербовать в стукачки и что лучше жить так, чтобы никогда вообще не попадать в поле зрения этой организации.

Писала «в стол» и давала конечно читать всем, кто ни попросит. Однажды пришла Писательница, Которую Печатали, взяла мамину рукопись. Через какое-то время вернула, мамина проза ей очень понравилась, особенно название одного из рассказов – «На золотом крыльце сидели». Прошел, кажется, год, и писательница выпустила сборник с таким названием.

У мамы был псевдоним, еще с того раза, когда рассыпали верстку в «Авроре». Тогда в том же номере шли рисунки моего отца, и редактор решил, что многовато в номере Беломлинских, и предложил взять какой-нибудь псевдоним. В то время у нас жил старый родительский друг Евгений Рейн. Зная мамину любовь к Андрею Платонову, он предложил псевдоним «Платонова».

Нет – это уж слишком...

Ну тогда – «Платова».

Так мама и стала «Виктория Платова» – году эдак в 1974-м. Под этим именем и вышел еще через пару лет ее единственный напечатанный рассказ «Дачница».

Больше не печатали категорически. В какой-то момент мама попыталась поступить на Высшие сценарные курсы.

И опять рекомендации ей написали такие люди, как, например, Александр Володин, любящий ее прозу, и ее приняли.

А потом обнаружилось, что нет высшего образования, – и все, разговор окончен.

Когда наступила Свобода, начали печатать всех. Евреи вообще вошли в моду – наряду с эротикой и какой-нибудь там эзотерикой. Но только опять какие-то свои правила: все должно быть или уж совсем кроваво-разоблачительно, или же, наоборот, сексуально-жизнерадостно. Рынок есть рынок, выбор у него невелик – либо секс, либо ужастик. А вот так, как пишет мама – (просто по правде, «критический реализм» называется – старинная русская литератур-

ная забава), вышло, что опять не подходит. То есть это можно – но уже знаменитым, ранее прорвавшимся. А новенькие должны следовать жесткому диктату рынка.

Потом мы уехали в Америку. Там шла своя бурная русскоязычная литературная жизнь. У мамы вышли две книжки.

Но она все равно оставалась аутсайдером.

В Америке мама работала сначала нянкой для стариков, а потом в организации, помогающей больным СПИДом, на складе, она сортировала вещи и собирала коллекции для продажи в дорогом «секонд-хэнде» этой организации. Там, в организации, помогали всяким оступившимся – вокруг мамы работали все сплошь отсидевшие в тюрьме. Еще инвалиды. Мама сама туда пришла и устроилась. Убедила парня, нанимавшего на работу, что ее, с ее английским, тоже можно смело считать за инвалида или за оступившуюся.

Там она и проработала почти десять лет. Потом они с отцом вышли на пенсию и поселились в настоящей американской деревне. Там у них небольшая русская колония, и мама выглядит вполне счастливой и умиротворенной. Наверное, она уже просто устала расстраиваться и ощущать обиду. И теперь обиду за нее ощущаю я.

Еще живя в Нью-Йорке, мама дважды оказалась номинирована на Букеровскую премию.

Номинировали ее, неизвестную ни читателям, ни критикам, те самые немногие Понимающие. Одним из них был академик Вячеслав Иванов. И оба раза ее проза оказывалась в букеровских шорт-листах. Во второй раз из России даже прислали премию – тысячу долларов. Узкий круг поклонников маминой прозы расширился. Я помню, в Нью-Йорке, на какой-то русской выставке, к маме подошел один из членов тогдашнего букеровского жюри – Сергей Юрский и долго-долго говорил о том, какая замечательная вещь ее повесть «Берег».

Два года назад у мамы вышла ее первая российская книжка «С любовью, на память».

Они вышли одновременно, обе наши книжки – моя в Питере и мамина – в Москве.

Я в это время была в Америке. Сразу приехала на Брайтон, в книжный магазин «Санкт-Петербург», вижу – моей книжки нет, а мамина стоит на самом видном месте! Вот думаю, все-таки понимают!

Говорю менеджеру: «У вас много экземпляров этой книги? Я несколько куплю. Это ведь моя мама!»

А менеджер отвечает: «Много. И все остальные книжки вашей мамы вон там лежат. Мы ведь заказываем всегда сразу все, что ваша мама пишет. Ее очень хорошо берут.»

Я думаю, какие такие «другие книжки»?

Смотрю, куда он показывает, и вижу детективы в ярких обложках «Виктория Платова».

Потом все бесконечно спрашивали, почему мама скрывала, что пишет детективы.

Брайтоновские старушки с гордостью повторяли:

«Оказывается, Виктория Платова тоже „из наших“, а говорили – сибирячка, ну вот же ее автобиография вышла».

Самое смешное, что поклонницы детективщицы Платовой (все, как одна) купили эту «автобиографию» и остались ею вполне довольны.

В России мама и та Виктория Платова почти не пересекаются, они лежат в разных отделах. Иногда даже в разных залах.

Детективщица Виктория Платова – в каком то интервью сказала, что ей это псевдоним навязали в издательстве.

На высших сценарных курсах, куда маму не приняли, Наталья Рязанцева, еще одна мамина поклонница из Понимающих, долгие годы преподавала мамину прозу своим ученицам. Мама давно была уже в Америке, на складе, а мне рассказывала приехавшая туда Светлана Василенко: «Мы росли на вещах твоей мамы».

Вполне возможно среди них была и та, что придумала навязать это псевдоним. Нормально – человека нет.

Он где-то далеко за морем. Хороший псевдоним плохо лежит – отчего не взять?

В общем, маме нужно было отступить обратно в Беломлинские...

Мамина книжка вышла в гробовой тишине. Для критиков мамы по-прежнему нет.

Тем не менее в гробовой тишине весь тираж был раскуплен и прочитан.

И этого маленького тиража конечно же не хватает. Потому что мамин голос – пронзительный, трагический и никогда не фальшивый, он нужен. Такая проза – настоящая – никогда не выходит из моды.

Недавно я собрала мамину мемуарную прозу, ее уникальные воспоминания о Бродском, Довлатове, Нагибине, Галиче. Я придумала такую книгу «Семейный альбом» – мамина мемуарная проза, и наши с отцом рисунки, портреты этих людей, сделанные с натуры. В «Амфоре» и в «Лимбусе» мне сказали, что с такой вот мемуарной идеей надо идти в издательство «Х». Я пришла, отдала все это некоей тетке и через некоторое время получила ответ:

«Мы не можем печатать эту прозу по этическим соображениям».

Круг замкнулся.

Оказывается, там, в американской деревне, моя мама написала нечто оскорбляющее «этические соображения» – очередной литературной начальницы.

Мама написала о мальчишке, которому изменила невеста, он мечется, режет вены, его успокаивают, утешают...

Мама не виновата, что мальчишка этот – Иосиф Бродский – нобелевский лауреат.

Это тоже не переделать, тот факт, что мой дед и отец Иосифа работали вместе в «Вечерке», дружили.

И мама с мальчиком Осей дружили с юности.

Многое меняется вокруг, но что-то остается неизменным. Например, вот такие Церберы-Капо, стоящие на страже.

Они по-прежнему стараются отгородить читателя от неугодных, неудобных им голосов. Не своих. Никому она не своя – моя мама...

Я тоже никому не своя. Мне вот выпала такая удача: мой голос, как джина, выпустил из бутылки Павел Васильич Крусанов. Мне была заказана рыночно-скандальная книга о садомазе. Но когда я принесла показать первые 70 страниц, Павел Васильич прочитал их, он ведь не сумасшедший, он отлично понял, что к садомазе все это не имеет никакого отношения, но все равно сказал, чтобы я писала дальше. И книга случилась – она есть. Там, в «Амфоре» вышла целая серия вот таких – неудобных голосов – портрет поколения. Мы – везучие, на нашем пути попался Пал Васильич. До встречи с ним я вообще то называлась «художница». Или, на худой конец, «поющая поэтесса». Он – создатель этого монстра, этого голема под названием Писательница Беломлинская. Я до сих пор вздрагиваю, слыша это словосочетание применительно к себе.

Я не хочу этим быть. Я не могу этим быть в мире, из которого исключили прозу моей матери.

В какой-то момент из меня еще хотели сделать литературного критика.

В журналах я рассказываю всякие истории и притчи, болтаю о том, о сем, иногда и книгах. Был момент, когда передо мной открылась эта светлая дорога – туда, в Литературные Капо. Это еще и круче, чем в Писательницы.

Сразу в Разводящие-Надзирающие.

Вот оно – Золотое Крыльцо.

Царь, Царевич, Король, Королевич, Сапожник, Портной – кто ты, будешь такой?

Я буду – Никто. Вослед за Цветаевой хочется сказать:

«На твой безумный мир, ответ один – отказ».

Я лучше буду – Голем, Джин, Привидение.

Я полечу на метле, а другой метлой буду колотить по головам всех, кто не дает чистому и честному голосу моей мамы прорваться к читателю, всех, кто за эти годы обидел и оскорбил ее – пренебрежением.

Я принесу маме связку вражеских скальпов.

А потом мы с мамой уйдем в партизаны.

В леса Большой Паутины.

За нами Русская Литература.

Видишь, мама, Гоголь протягивает тебе свою Шинель.

Вот он – наш главный дом – Шинель.

Из Шинели, все мы – из Шинели...

Не плачь мама, бедная девушка.

Возьми шинель – пошли домой.

Построим себе сайт-шалаш в Большой Паутине.

Крыльцо у нас будет не золотое – простое.

Вход – свободный.

Юлия Беломлинская

2005 Питер



## ВСТРЕЧИ

ОБ АЛЕКСАНДРЕ ГАЛИЧЕ И ЮРИИ НАГИБИНЕ



БУЛАТ ОКУЛЖАВА (из блокнота)

## ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ

Понятие женской – красоты – это такое многообразие, вы же сами знаете, дело не в том, что у мужчин разные вкусы – этому нравится толстая, а тому худая, но каждая эпоха, каждая культура создает свой эталон красоты. Потом они могут перемешиваться, в самой своей сути сублимируя время, отражая его то романтический, то демонический образ, образ расцвета или упадка, тонкую подоплеку вселенских предчувствий и надежд.

Но существует одно незыблемое, влекущее нечто – тот божественный дар женственности, что во веки веков одерживает победы над мужскими сердцами.

Порой этот дар вовсе не связан никакими узами с установленными канонами красоты – он лишь убедительно создает ее иллюзию.

И тут уж ничего не поделаешь – настолько убедительно. Вот, к примеру, я работаю с рыжеволосой толстушкой. Я вижу: у нее короткие ноги, довольно низкая попа, спереди выступает жирный животик, даже более чем грудь выступает. Но так обворожительны ее бело-розовая шея, мягкие влекущие к объятию плечи, копна солнечно-рыжих, легких завитков так нежно обрамляет и эту, в детских поперечинках шейку, и лицо необыкновенной заманчивости: как на дорогом фарфоре разложенные сласти, лежат голубые глаза, темнеющие временами под сенью длинных, тщательно изогнутых умелым прикосновением щеточки ресниц; так умиротелен, точно для этого овала, для этого места между двух веселых щек вылепленный нос, и эта родинка справа над губой, и так неожиданно звонко губы растягиваются в улыбку тотчас на щеках образуя милые ямочки – и невозможно не понять, что эту женщину мужчина не то, что может хотеть трахнуть, но должно быть, он хотел бы съесть ее, облизать ее всю, всю ее солнечно-медово-пушистую сладость впитать в себя, всосать, ну, хоть как-то растворить в себе...

Впрочем, мне трудно представить, какой она будет лет через двадцать. А я и посейчас слышу красавицей. Это в мои-то годы! И надо сказать, что так же как моя сослуживица – ее, между прочим, зовут Апрель – в век длинноногих высоченных манекенщиц, имею не слишком много данных носить этот, всякой женщине лстящий, титул. И ноги ни к чорту не годятся и то не так, и это не эдак. Я как-то, размечтавшись о выигранных в лотерею миллионах, представила себя в кабинете пластической хирургии, и тотчас в отчаянии сбежала оттуда. Оказалось, что я хотела бы перекроить почти все, – тс есть попросту пропеть: «перекройте все иначе, сулит мне новые удачи искусство кройки и шитья...»

А в возрасте Апрельки я была полной ее противоположностью.

Моя худоба – «ножки тонкие, ручки тонкие», длинная шея, острые плечи, разбегающиеся от висков голубые жилки под прозрачной кожей – все это превращало мою уже вполне вызревшую женственность во что-то щемящее, примешивало к ней впечатление невозможной детскости. Так вот смотришь на каплю только что пролившегося дождя, видишь, как она подрагивает на карнизе, как отражается в ней, играет солнечный свет и сердце замирает от ужаса: сейчас она сорвется и разлетится в прах... Это, должно быть, очень чувствовали художники – они любили меня своей профессиональной любовью, их увлекали эти переливы света, игра теней, что-то еще такое, специальное. Я позировала до замужества в Академии художеств и замуж вышла за художника, и привыкла выслушивать о себе профессиональные восторги.

Наверно поэтому, когда Булат Шалвович Окуджава, увидев меня впервые, произнес тост, посвященный моей хрупкой красоте, сказал замечательные, очень искусные слова – я слушала их так, как будто они не ко мне относились, а были лишь прекрасным актом творчества. И оказалась права: он не узнал меня, когда через неделю мы с мужем провожали Сашу в Москву, и столкнулись с Окуджавой в проходе вагона.

Мы поздоровались, и он кивнул так подозрительно небрежно, что можно было понять, что не узнал. Тогда подумалось вполне справедливо: как же такому знаменитому человеку упомянуть всех, кто случайно сказался в орбите его зрения. Но прекрасные его слова запомнились. Среди них была благодарственная фраза в адрес Саши. За то, что это он привел меня к их пиршественному столу.

В номере-люксе гостиницы «Астория», где первая комната была как бы лишней и необитаемой, во второй – за круглым столом, уставленным едой и питьем, сидели Окуджава, Белла Ахмадулина и мои давние приятели: Володя Венгеров с женой Галей, Гиппиусы, Володя Шредель.

А меня, действительно, привел с собой Галич.

В тот вечер я могла впервые увидеть Юрия Марковича Нагибина. Но не увидела.

Он лежал больной, в третьей комнате, должно быть, ему хорошо был слышен гул нашего застолья. Время от времени то Шредель, то Гиппиус уходили проведать его. Возвращаясь, сокрушенно покачивая головой, сообщали: «Юрка совсем плох...»

Но как-то это не омрачало общего веселия. Никто из его соратников по бегству из Москвы из-за стола ни разу не поднялся, жена Белла, давно уже пьяненькая, тонким с трещинкой голоском произносила бесконечный монолог – вслушавшись в него, можно было уловить, что это трогательно-выспренное объяснение в любви к «Булатику».

А мое маленькое женское тщеславие пело внутри меня победные гимны: я пришла сюда с Галичем, он, наконец-то, сидел рядом со мной – и это было самым главным!

Гиппиус заговорщически нашептал мне, что вся эта «великолепная четверка» бежала из Москвы, дабы избежать принуждения подписывать какую-то очередную гадость, но я-то знала: Саша приехал меня ради – он писал мне о своем желании увидеть меня, каждое письмо начиная словами: «Моя прекрасная дама!» Это обращение мне не нравилось, вот уж не похожа я была на «даму», да и мне неловко было называть его «Сашей» – таким немолодым, одышливым казался он мне с высоты птичьего полета моей молодости. Теперь, когда я стала старше его, мне естественнее называть его по имени, а тогда я множество раз обижала его этим упорным «Александр Аркадьевич».

Так же как потом обижался на меня за «Юрия Марковича» Нагибин, приглашением к амикошонству, пытаюсь попридержать отлетающее время...

В один из приездов Галича в Ленинград наши друзья Гарик и Жанна Ковенчуки устроили званый вечер, Жанна попросила меня придти пораньше, помочь с приготовлением стола. Я никогда ни до, ни после на высоких каблуках не ходила, не умею, а тут подвернулись мне туфли на высоченных шпильках под цвет платья. Но долго я не смогла выдержать и, бегая из кухни в комнату, сбросила их.

Распаренная жаром духовки, ушла в Жаннину спальню привести себя в порядок, и как раз – звонок. В квартиру влились возбужденные с мороза голоса, среди них эдакий барственный баритон – он сразу выделился – по всей квартире разлилось очарование первых мгновений, предшествующих началу застолья...

А туфли остались где-то в прихожей – я так и вышла к гостям босиком. И это было все! Он увидел мои разутые ноги – он потом множество раз повторял: «Ты была босая! Среди этих разряженных дам – ты была босая!» – ему достаточно было одного мига этой рискованной незащищенности...

А я увидела перед собой вальяжного господина, так же сильно похожего на модного гинеколога или преуспевающего адвоката – будь поплоче одет, сошел бы и за бухгалтера – как мало походил внешне на поэта, автора тех песен, что уже разнесла по свету магнитофонная слава. И вошедшая вместе с ним гитара некоторое время казалась случайной гостьей.

Но пришло время, Саша взял ее в руки и – когда-то потом Юрий Маркович говорил мне: «Знаете, так было всегда: я знакомился с бабой, покупал цветы, вел ее в ресторан, тратил на нее

кучу денег и времени, и вдруг появлялся Саша, брал в руки гитару и через час уводил мою женщину с собой. И чаще всего я еще почему-то давал ей деньги на аборт...»

В тот вечер он пел для меня. Для меня одной – это было очень заметно.

И, конечно, прибавляло к моему восхищению словами его песен, их сильным смыслом, абсолютным артистизмом исполнения, восторг ликующего женского тщеславия, упоения без всяких усилий одержанной победой. Куда же денешься – так оно было...

Потом нас развозил по домам какой-то заблудившийся в морозной ночи автобус: кого-то везли на Васильевский, потом к Александро-Невской Лавре – «Мимо белых берез и по белой дороге и прочь. Прямо в белую ночь, в Петроградскую белую ночь...»

И снова возвращались к центру, чтобы высадить Сашу возле «Астории». И я уже знала, что утром следующего дня приду в вестибюль этой гостиницы и назову портье записанный помадой на ладони в темноте автобуса Сашин номер.

А в суতোлке заполнивших автобус голосов еще не остывших от гостевания мужчин и женщин, мы с Сашей говорили об очень важных, очень серьезных вещах – недаром в первом же письме из Москвы он написал мне: «Вчера выступал в Центральном клубе работников искусств и пел черт знает что – имел успех! Вообще, тот наш странный разговор вдохновил меня на полную отчаянность!»

Когда-то потом Саша рассказывал мне: «Когда я кончил петь, зал аплодировал мне стоя, но вдруг, продолжая аплодировать, один за другим все отвернулись от сцены в сторону боковой двери: там появился шофер машины, на которой меня должны были отправить домой – мужичок в кожаной тужурочке, поигрывающий от нетерпения ключами, стараясь при этом подать мне какой-то знак – дескать кончай баланду, надоело ждать. А в самом деле, разве похоже, что я мог сочинить, ну, хотя бы это: „Потому что – гражданка гражданочкой, но когда воевала братва, мы под эту самую кожаночкой ночевали не раз и не два...“ Он гораздо больше меня был похож на автора... А я так... исполнитель... Вот ему и аплодировали.»

Каким-то особым артистическим извивом своей души этот барственный, свободно владеющий французским господин впитал, вобрал в себя все безбрежное богатство русской речи – от истинно простонародной до изысканно поэтической.

«... В ночь, когда по трескучему снегу, в трескучий мороз не пришел, а ушел – мы потом это поняли – белый Христос...»

В полдень следующего дня я поднялась к нему в номер и вдруг, с поразительной для его комплекции легкостью, Саша опустился на колени, простер ко мне навстречу руки и на полном серьезе – клянусь, я не выдумываю – произнес: «Богиня! Вы пришли!» – такое нельзя выдумать, настолько это похоже на фарс – внутри меня все скрючилось от неловкости за него. Но, к счастью, я сумела догадаться, что это всего лишь акт, некое действие, перформанс, как сказали бы братья-художники...

Потом мы завтракали с ним в пустом сумрачном зале ресторана: мы пили кофе с коньяком, ели омлет с беконом и гренками. Омлета не было в ресторанном меню,

но по Сашиной кокетливо-жалостливой просьбе, услужливый халдей сбегал на кухню, уломал повара, и вкус омлета оказался здорово приправлен пряностью избранничества. И наше почти одиночество в этом зале – или рюмка коньяка? – но что-то расположило Сашу говорить – говорить-говорить... Он рассказывал мне удивительные, порой полупонятные вещи, они никак не укладывались в рамки моей незамысловатой, вполне обывательской жизни, но со мной не раз случалось, что я не понимала услышанного, но запоминала крепко, и всегда потом это запомненное объяснялось много спустя приобретенным знанием. Это был рассказ про Михоэlsa, про Михоэlsa в гробу, с заgrimированной раной у виска, про привокзальные притоны каких-то провинциальных городов, про напутственное слово Вертинского, про необыкновенную болезнь, благодаря которой в любом замурзанном городишке России можно увидеть огни Эйфелевой башни, получив от доктора неотложки укол морфия...

Пройдут годы, многое не только проявится в его рассказах, но явственно даст себя знать, когда в номере гостиницы «Москва» на Московском проспекте, введенный в руку нечистой иглой морфия, закончит свое магическое действие общим заражением крови и приведет Сашу на край могилы, а меня приставит к нему сиделкой.

И, наконец, совершится мое с его женой, знакомство, которого я счастливо избежала за пару лет до этого, навещая Сашу в Боткинской больнице в Москве.

Моя подруга говорила: люди болеют двумя болезнями – одна называется «лежаловка», а другая – «хуяловка». «Лежаловка» – это когда можешь болеть, а можешь и не болеть, но хочется поболеть. А вот «хуяловка» – это когда тебе уж точно хуево.

Так вот тогда в Москве, похоже, была «лежаловка». Я приехала в командировку, позвонила, и мне сказали, что он в больнице. Название ее мне не понравилось, наверное, потому что в Ленинграде есть Боткинские бараки и это довольно жуткое место, а тут оказалось все совсем наоборот: небольшие коттеджики среди пышного сада, и на веранде в шелковом халате, с французским романом в руках, Александр Аркадьевич. В тот раз я привезла ему кроваво-красную клубнику в зеленом пластмассовом тазике. Поверх клубники лежала роза на длинном стебле, такая свежая, только что срезанная, что утренняя росинка еще дрожала на ее лепестке. Я всю дорогу в троллейбусе я караулила-оберегала, эту росинку. Увидев мои дары, Саша сказал: «Как это мило с твоей стороны! Вот посмотри, что мы с тобой сейчас сделаем: клубнику немедленно съедем, тазик подарим нянечке, а розу медсестре. И Нюша ничего не узнает»...

И все-таки я приезжала к нему еще пару раз и Саша все не знал, чего ему больше хочется: сразу увести эту девочку в белой юбке и голубой пушистой, заморской кофте куда-нибудь подальше в темную аллею, или, наплевав на осторожность, наоборот, торчать на виду у всех, насладиться сполна завистью своих болящих сверстников, а уж потом в аллею...

Посередине улицы Горького я зашла в телефонную будку и, перекрикивая автомобильные гудки, прокричала: «Саша, я звоню из аэропорта».

Мне пришлось немедленно вылететь в Ленинград. Я прощаюсь, уже посадка!»

...Мягкая посадка. Оттого нам и удалось сохранить такие добрые отношения на потом, навсегда. Оттого он и мог наверняка вызвать меня к своей постели, когда термометр уже зашкаливало...

Но это было уже много лет спустя...

...В тот вечер снег падал крупными хлопьями – маленькие белые паруса, надуваемые легким ветром – они долго кружились над головами, прежде чем коснуться земли. И улица перед «Асторией» и сад, Исаакиевский собор – все казалось прекрасной декорацией и мы сами казались себе не просто хорошо подгулявшей в ресторане компанией – аж до самого закрытия – а совершенно необыкновенными исполнителями какой-то волшебной пьески.

Обняв за плечи, Саша повел меня за угол по улице Герцена. Ногам так уютно было ступать по пушистому насту, так завораживало это белое кружение перед глазами, что я не заметила идущих нам навстречу людей.

Но Саша – он же драматург, он не только актер, он знает, как пишутся красивые сцены – он опустился передо мной на колени, ну вот ровно за секунду до того, как эти люди поравнялись с нами, они окружили нас и, должно быть, потрясенные услышанным, замерли: Саша объяснялся мне в любви. А я не то отмахивалась снежинки, не то тянула к нему руки, смеялась и умоляла: «Саша, ну дорогой, ну, золотой-брильянтовый, да встаньте же вы!» В это мгновение из-за угла появился мой муж Миша, Саша тотчас же притворился совершенно пьяным и, помогая ему встать, Миша сказал, что расхотеться никто не хочет, хорошо бы куда-нибудь пойти: «Белла будет читать стихи, Булат петь, вот только Саша совсем...» – «Нет-нет, Миша, я в порядке, – восторженно Саша. – Это великолепная идея! Обязательно надо куда-нибудь пойти...»

Мы жили на Обуховской обороне, у черта на куличиках, да к тому же с родителями, Венгеровы – на другом конце города, ни Гипиусы, ни актер Лебедев с женой к себе не зовут – и тут я придумала: в двух шагах от «Астории», на Фонарном переулке самый лучший, самый гостеприимный дом в Ленинграде, дом моей подруги Люды Штерн. И первый час ночи меня не смутил, позвонила из автомата, говорю: «Людаша, вот мы тут, такая компания: Ахмадулина с Нагибиным, Окуджава, Галич, еще кое-кто... Можно к вам?» К услышала: «Мама, можно к нам сейчас придут?..»

В ответ глубокое, всегда немного ироничное контральто Надежды Филипповны: «Боже! Сколько знаменитостей сразу! Но нам же нечем их угощать!?!»

«Нас не надо угощать! – ору в трубку, будто надеясь, что не Людка, а сразу Надежда Филипповна меня услышит, – Мы из ресторана!»...

Все-таки домработницу Тонечку послали в ночной буфет автобусной станции – благо неподалеку – и к нашему приходу на столе стояло блюдо бутербродов, а на плите пыхтел чайник. Вот только никакой выпивки дома не сказалось, и Надежда Филипповна все извинялась, но мы уже сидели в гостиной, уже Булат настраивал гитару и хорошо, что не было выпивки, – Белла и без того была изрядно пьяна, да и всех нас трезвыми назвать было бы трудно.

Но звучали стихи и песни, и снова стихи – это был замечательный вечер, он навсегда запомнился и нам, и Надежде Филипповне, и Люде, и нашим друзьям Ефимовым – они уже собирались уходить от Люды, но, когда я позвонила, решили остаться.

В этой квартире на Фонарном, в прихожей стояло старинное красного дерева трюмо с притуманенным временем зеркалом.

Три с половиной комнаты и кухня-закуток. В нее можно перейти через гостиную и столовую – вернее то, что в Америке называют «дайнет», а можно попасть из коридора, пройдя мимо ванной. Маленькая комната рядом с гостиной всегда вызвала у меня жгучее любопытство, неизменно побеждаемое застенчивостью – я так и не осмелилась при жизни Якова Ивановича, главы дома, заглянуть в его кабинет. Только мельком, проходя в комнату Люды, видела увешанные старинными гравюрами стены, на них гусары, кавалергарды, драгуны – Яков Иванович был уникальным знатоком русской военной формы. К нему обращались за помощью при съемках исторических фильмов, у него консультировался Андронников, он дружил с Владиславом Глинкой. Юрист, профессор трудового права, это он попросил свою ученицу З. Н. Топорову защищать на суде Иосифа Бродского. Но теперь его уже не было. Спустя какое-то время после его смерти в квартире сделали ремонт. Должно быть, отдавая дань авангардистской молодости Надежды Филипповны стены и высокие потолки в квартире выкрасили в оранжевый, темно-синий, терракотовый и бордовый цвета. Потолок в гостиной, где мы сидели, стал красным. Но старинная Александровская мебель, массивное красное дерево, торшеры под обрамленными бисером абажурами, ширазского кашемира покрывала на тахте в гостиной и на диване против тахты – все вписалось в интерьер, спокойно снеся этот удар модернизма. Сидеть в гостиной было уютно, кто-то расположился на диване, я скинула туфли и с ногами забралась на такту, спрятавшись за Сашину спину...

Юрий Маркович однажды написал воспоминания о Галиче, с которым он очень удачно поссорился перед самым изгнанием Александра Аркадьевича из Союза писателей, а потом уж и вообще... И так уж им никогда не довелось помириться. Конечно, эти воспоминания не называются «Как поссорились Юрий Маркович с Александром Аркадьевичем», – в них даже вовсе не упоминается о ссоре, а только лишь о расхождениях, причем исключительно творческих. Что-то все-таки грызло душу автора и он изо всех сил старался доказать вину своего бывшего друга – ну, если не перед ним, то хотя бы перед поэзией вообще. Он сравнивает поэтические средства Окуджавы и Галича, и Галич оказывается слишком предметен, прямолинеен и что-то там еще. Но дабы заручиться читательским доверием к своим сценкам, Юрий Маркович

предварил свои литературоведческие выкладки вполне художественным вымыслом – дескать, суди дорогой читатель, сам, какого разного достоинства у этих поэтов были поклонники.

У Булата Шалвовича Окуджавы в поклонниках оказывался он сам, Нагибин, а у Галича – две вздорные истеричные женщины, устроившие неприличный скандал:

«И вот уже последний троллейбус плывет над Москвой, верша по бульварам кружежье... – напоминает, вернее, использует самое знакомое, легко на ум приходящее Юрий Маркович из всего, что пел в тот вечер в квартире на Фонарном Окуджава. – Сознание не участвовало в том вздохе-стоне души, который вырвался у меня, едва замолк голос певца:

– Боже мой, как хорошо!

– А вы не кричите! – перекосив лицо ненавистью, заорала хозяйка дома. – За стеной люди спят!

– Нет элементарного чувства такта, – свистящим шепотом кобры поддержала Сашина поклонница. – В чужом доме... Какое хамство!»

По своему неправдоподобию этот отрывок не требует опровержений – в нем просто нет внутренней логики – она изменила писателю, ибо «Бог всегда шельму метит.»

А начинает Юрий Маркович этот отрывок с описания сборища в его гостиничном номере: «Среди присутствующих оказалась очередная Сашина поклонница, женщина большой душевной энергии и, как выяснилось много позже, выдающегося литературного дара, которого никто не хотел за ней признать. Сейчас мне кажется, что этой женщине, с ее страстным, необузданным, склонным к конфликтам характером очень хотелось столкнуть наших бардов, в надежде, что верх окажется за ненаглядным ее Сашей. Она все время висела на телефоне, отыскивая ристалище для песенного поединка, гостиничный номер для этого не годился...»

И немного дальше: «Мы приехали в типично петербургскую старую квартиру с высоченными, темными от копоти потолками, кабельными печами и остатками гарнитура красного дерева. Старинные гравюры с мачтами и парусами угрюмились на стенах.»

Я хотела было остановиться на этом, но дальше тоже интересно:

«Тридцатилетняя хозяйка была вполне из нашего времени, даже несколько впереди, она исходила агрессивным задором, сленгом и никотином – (ни Люда, ни Надежда Филипповна никогда не были завзятыми курильщицами) – и все время что-то потягивала из стакана. Нам всем поднесли выпить...»

Одно слово приблизительной правды: потолки в этом доме были ну не высоченные, а просто высокие.

Но вы, Юра, не видели меня в своем номере никогда. И я увидела вас – но не очень-то разглядела – в ресторане «Астория» в тот вечер впервые.

И пить в этом доме в тот вечер можно было только чай, или водопроводную воду.

И Саша попросил меня: «Принеси стаканчик воды. Только, пожалуйста, слей как следует, а то – она застаивается в кране...»

Я вышла на кухню и следом за мной вышли вы, Юра. Вода из крана лилась в стакан, переливалась через край, вы секунду потоптались на месте и сказали:

– Послушайте, завтра утром я буду один в номере. Часов до трех. Может быть, вы приедете ко мне?

– Куда? – я несколько обалдела.

– Ну, ко мне в гостиницу.

Нас, конечно, познакомили в ресторане, но, кажется, вы ни то не расслышали, ни то не запомнили мое имя. Да и я, собственно, только сейчас как следует разглядела вас.

И подумала: какое красивое, безумно трогательное лицо – совсем не вяжется оно с этим вот ошеломительным хамством. И при всем моем «конфликтном, необузданном характере» у меня не возникло даже малейшего желания, ну, хотя бы плеснуть в это лицо холодной воды. Но надо же было как-то ответить и я сказала:

– Боюсь, вам это будет дорого стоить.

Мне казалось, что такой ответ достоин предложения.

– Глупости. Я просто смотрел, как вы сидите, в такой позе...

– Ах с позами? С позами вам будет уж точно не по карману, – лихо, дерзко парировала я, и сама себе в эту минуту очень нравилась. Но на самом деле это должно было выглядеть ужасно глупо.

Вы так и сказали:

– Какая вы дура, оказывается. – И ушли в комнату.

Пока мы с вами так мило беседовали, вы держали обе руки глубоко в карманах брюк. Только плечам было дозволено как-то участвовать в разговоре. По лицу пару раз внезапно пробежал тик: одновременно подернулись правый глаз и правая ноздря. Но это только усилило ваше сходство с каким-то крупным животным из породы кошачьих – не с хищником, нет... А все-таки, знаете, вы были похожи на льва, только не на льва из джунглей, а на сытого, холерного, но очень печального циркового льва.

Я сейчас подумала о том, как много требовалось от Саши, чтобы очаровывать дам: он должен был быть остроумным, внимательным, нежным, артистичным, наконец, талантливым, еще лучше – знаменитым. А от вас – ну, ровно ничего: вы могли быть никому неведомым юношей, могли стать кем угодно, ну, хоть самым безвестным инженером, никогда не то, что не написать, но даже и не прочесть ни одной книги —

и все равно вас любили бы всю жизнь, до самой старости.

Вот чего я так и не узнала о вас: было ли вам самому известно это вам Богом данное. Случая не было спросить. Так же, как теперь я могу спросить, не уже не получу ответа: отчего, Юра, в этом своем воспоминании о Галиче вы так много внимания уделили моей персоне? И знаете, смешно получилось – сначала все в каких-то превосходных степенях: «большой душевной энергии», «выдающегося литературного дара»... А потом вспомнили, видно, что-то неприятное и обозвали «коброй».

...И множество раз потом при каждой нашей встрече, сказав мне что-нибудь доброе, иногда замечательное, вы как будто спохватывались и старались хоть как-нибудь да обидеть...

Но ни тогда, ни потом, ни теперь я не могу обидеться на вас...



Булат Окуджава

## ВСТРЕЧА ВТОРАЯ

Перечитывая «Дневник» Юрия Марковича Нагибина, по незаметным постороннему глазу приметам я поняла, что ошибалась, думая, что с момента нашей первой встречи до второй прошло десять лет. Не десять, а всего семь.

Но многое случилось и необратимо изменило нас за эти годы. Иллюзии, бурно накатившие на нас в начале «оттепели», истаяли окончательно, жизнь обрела затхлый, гнилостный запах застоя, но чем безнадежнее тонула в его трясине страна, тем с большим упоением пестовали мы свои отдельные, исключенные из жизни общества судьбы. Тем с большей легкостью вставали на путь поиска и обретения своей, неофициальной, стоящей над законом реальности.

– На киностудии «Леннаучфильм» была принята к постановке картина – вернее «картинка» – «Последний путь Лермонтова», путь поэта из Тархановского имения бабушки в последнюю ссылку. Кто знает, зачем и кому она была нужна, какой такой образовательной цели должна была послужить – бесцельность и бессмысленность траты государственных денег и человеческих усилий – это тоже примета времени.

На студии серьезно и озабоченно решался вопрос о том, как бы это при съемках избежать электрических проводов и линий высоковольтных передач. Все с надеждой смотрели на нашего оператора, старого еврея Эммануила Яковлевича, он покачивал головой и обещал сделать все от него зависящее. И никому не приходило в голову, что на просторах нашей родины чудесной есть такие места, где люди живут в курных избах, а об электричестве со всеми его столбами-проводами разве что слухом слышали, а видать – не видали...

Но это выяснилось уже после того, как на место съемок на разведку послали администратора – им была я.

То-то порадовала, позвонив из Перми, нашего режиссера «со товарищи».

Для начала я одна-одинешенька оказалась в городке под названием Белинск. Станция железной дороги, ведущей в этот городок, называлась Белинская и находилась от него довольно далеко. Ехать от станции до города надо было часа два по совершенно раздолбанной дороге на раздрызганном автобусе – он дребезжал, стонал, взвизгивал на каждом ухабе, не верилось, что дотянет до конца пути. Но и пассажиры были ему под стать. Набилось их в автобус до отказа и все какие-то серолицые, повально беззубые, одетые нищенски во что-то клочковатое, нагруженные тюками с провизией. По необъяснимым законам российской нищеты в самом Белинске ни хлеба, ни каких вообще продуктов купить нельзя было, а на станции хоть что-то да продавали – вот и мотались туда-сюда жители Белинска и его окрестностей. Под дребезжание автобуса, уставшие от борьбы, сначала в очередях, потом за место в автобусе, люди примолкли, за окнами тянулись безрадостные картины не то брошенных земель, не то до последней степени неухоженных полей, гиблых посевов, и потянуло бы в сон, если бы не трясло так безбожно неравномерно, и вдруг среди наступившей тишины откуда-то с передних мест раздался протяжный жалостливый бабий взвой: «Ша-а-фер! Ша-а-фер! Астанови автобус! Сережу-слепого возьмем!..»

Рассказ, написанный полгода спустя, уже в другой командировке, я так и назвала: «От станции Белинская до города Белинска». Небольшой рассказ, он не мог вместить в себя все увиденное и пережитое мной за те две недели, что провела я в одиночестве в этих Богом забытых местах.

Я никогда не написала о селе, в котором ополоумевшие от нищеты люди не рыли ямы для сортира, а растущую вверх кучу говна загораживали лишь с трех сторон – со стороны глядящей в поле предоставляя свободный выход зловонью. Я не написала о том, как из года в год в этом селе мрут дети от дизентерии, а последний фельдшер повесился – предпоследний сбежал – и теперь стоит заколоченный медпункт, тем только и примечательный, что памятью

о висельнике. Я не написала о повально безграмотных мужиках, что ставили в моей платежной ведомости кресты вместо подписи: о том, как мне напоказ проводил среди них беседу бригадир – молодой, судя по еще не сношенным галифе, недавно отслуживший.

– А вот и правильно сказал наш председатель, – назидал он мужиков, покачивая грязной ногой в домашней тапочке без задника. – Нет мордве света и не будет! Не заслужила! Потому, как своего героя не вырастила! Вот чуваша вырастила своего героя – теперь им вся привилегия выйдет...

Имелся виду чуваш – космонавт Андриан Николаев.

Многое осталось за пределами небольшого рассказа. Он кончался тем, что слепой аккордеонист говорит упившейся в усмерть за длинную дорогу бабе: «Вставай, я доведу тебя...» К навстречу закатному солнцу уходит вдаль, твердо ступая по пыльной дороге, слепец, а рядом, цепляясь за него, семенит, спотыкается, кое-как ковыляет на распухших ногах пьянчужка...

Конечно, я знала, что ни этот рассказ, ни другие, раньше написанные, ни повесть «Сила» никто печатать не будет. И это меня не слишком огорчало.

Написано еще было мало, еще очень остро ощущалось что могу и должна писать лучше, а главное – вокруг меня было много поэтов, прозаиков, избравших своим поприщем «вторую литературную действительность». Огорчало лишь то, что и в этой «второй действительности» мне никак не удавалось о себе заявить – вот она я!

Время от времени по-дурацки кокетничая, я говорила кому-нибудь из своих литературных приятелей: «А знаешь, я тоже пишу...»

И всегда в ответ слышала одно и то же: высокомерное, снисходительное, иногда раздраженное, но одно и то же: «Ну, пиши-пиши, писать никому не запрещается...» Один только оказался оригинальней прочих:

– Писать, – сказал он мне, – не в жопе чесать, – и заткнул мой рот поцелуем. Потом, слегка отдышавшись, задумчиво добавил, – впрочем, руки-ноги есть – пиши...

Юрий Маркович однажды спросил меня: «Вика, что вы такое в жизни натворили, что мне никто не хочет поверить, что вы талантливая писательница?»

Но это уже было много позже. А пока я продолжала писать и одновременно творить то самое – просто жить: лаяться в очередях, суетливо, всегда наспех исполнять множество своих домашних обязанностей, вырвавшись из дома впадать в неистовое веселье, утверждая за собой славу эксцентричной раскованной особы. Постоянные болезни мамы и дочери вынудили меня оставить работу, но времени писать стало не больше, а меньше. Приоткрыв дверь моей комнаты и застав меня за столом, мама всякий раз грозно пророчествовала:

– Пишешь? Ну, пиши, пиши! Ты допишешься!

Сна никогда не спросила меня, что же я пишу, да я и не сказала бы ей. Встав из-за стола, я убираала все бумаги в ящик и запираала его на ключ. Наверное, это и укрепило маму в мысли, что я пишу бесконечные письма любовнику.

Меж этих вялотекущих дней ранним утром раздался звонок, и незнакомый мужской голос сказал, что звонит из гостиничного номера Александра Аркадьевича Галича по его просьбе. Он серьезно болен, очевидно, у него воспаление легких. На мое счастье дома оказался Миша – он только что переболел гриппом, но еще не выходил из дома, поэтому отпустил меня, взяв на себя все домашние дела.

На далеком Московском проспекте, в неуютном, похожем на опрокинутый шкаф, номере гостиницы «Москва», Саша то выныривал из забытья, то вновь в него погружался. Молодой человек, один из армии бессмысленных визитеров всех заезжих знаменитостей, какими-то только им ведомыми путями узнающих, когда, где и в каком номере остановился их кумир, на сей раз попал «как кур в ошип», но надо отдать ему должное – не бросил Галича в беде, увидев, что его лихорадит, выпросил у дежурной термометр. Когда столбик ртути подобрался к сорока, вызвал неотложку. Сашу хотели увезти в больницу, но он умолял этого не делать,

подождать до утра, и, несмотря на крики дежурной, молодой человек остался с больным. Врач неотложки сделал укол и высказал предположение, что это воспаление легких.

Оставшись с Сашей одна, я все-таки узнала у него, как и с чего все началось. Оказалось, что едва поселившись в этом номере, он почувствовал боли в суставах – «ну, знаешь, это привычные ревмокардические боли, я вызвал неотложку и уговорил врача, он не хотел, но я уговорил сделать мне болеутоляющее» – вот тут бы мне насторожиться и вспомнить странные Сашины рассказы – но не вспомнила, не вспомнила и тогда, когда Саша сказал, что укол врач сделал очень плохо, теперь рука болит ужасно, там затвердение и вчерашний врач неотложки велел держать грелку, но грелки нет. Я пошла к дежурной выпрашивать грелку, и она голосом бывалой надзирательницы объявила мне, что больному в гостинице находиться нельзя, если я не заберу его, она вызовет «скорую» и отправит его в больницу.

Саша умолял меня о двух вещах: не звонить в Москву, не сообщать жене о его болезни и не отдавать его в больницу. Значит, надо было его забрать к себе. Мой дом на далекой ленинградской окраине, с его чистенькой бедностью обстановки и шумной жизнью за стеной родителей и ребенка, не казался мне подходящим прибежищем для Александра Аркадьевича, но делать было нечего, и я позвонила Мише. Он сказал, что вызовет такси и приедет за нами. Но то ли он не сразу вызвал, то ли такси долго не шло, его все не было и не было. Саша бредил, что-то невнятное бормотал, внезапно садился на кровати и, размахивая одной рукой – вторая, видно, здорово болела – уверял кого-то, не видимого мне, что «все это абсурд, ерунда, с этим невозможно...» и, не договорив, падал на подушки. Потом я помогла ему дойти до уборной, потом он уснул, и я решила сбегать в аптеку за жаропонижающим.

Вернувшись, я застала в вестибюле Мишу. Он отпустил такси, но здесь, на Московском, такси поймать не проблема, тем более что собрать Сашу и свести его вниз не представлялось мне делом быстрым. Каково же было мое изумление, когда открылась дверь вызванного нами лифта, и из него прямо на нас вышел Саша в пальто, одетом на пижаму, поддерживаемый высокой пожилой дамой. Слабо улыбнувшись, он сказал: «Вот, меня забирают...»

– Раиса Львовна Берг, – энергично представилась дама и тут же распорядилась: – Идите за такси, – сказала она Мише. – А вы держите, – она сунула мне в руки Сашин чемодан. – Вы поедете с нами, вас ведь Вика зовут? Вот и прекрасно: ваш муж может ехать домой, а вы поедете с нами, вам нужно будет завтра в восемь часов быть у меня, я должна буду уйти, у меня лекция. По дороге вы зайдете на рынок, купите для Александра Аркадьевича цыпленка.

То, что Саша был здесь внизу, сам своими ногами спустился, – уже казалось мне невероятным, то, что эта женщина появилась в его номере за те пятнадцать минут, что я бегала в аптеку и успела поставить его на ноги, одеть в пальто, собрать его чемодан и теперь так решительно знает, кому куда и что – все было невероятно, у меня у самой что-то поплыло в голове, но вместе с тем от ее решительности стало легче на душе – с меня и Миши был снят груз ответственности, и мы радостно подчинились всему – Миша поехал домой, я с Сашей к Раисе Львовне – просто для того, чтобы лучше запомнить адрес и завтра не плутать.

Теперь я не помню точно, где она жила, но все – и район, и дом, и этот ход с черной лестницы, и сама квартира Раисы Львовны – было сплошной достоевщиной. Квартира деленная, еще по дороге Раиса Львовна успела рассказать мне о нескончаемой распре с соседями из-за того, что она захватила себе выход на черную лестницу и тем самым создала иллюзию отдельной квартиры, хотя сортир и ванная остались в ее коммунальной части. То, что прежде было огромной и бесполезной прихожей, благодаря поставленным в ряд массивным шкафам и буфету и еще каким-то выгородкам, стало кухней, столовой, еще двумя крошечными комнатами, двери которых выходили в столовую, и коридором, ведущим в коммунальную часть квартиры. Из него можно было пройти в еще одну принадлежащую Раисе Львовне отдельную комнату. В нее и водворили Александра Аркадьевича.

Она являла собой заброшенный филиал ботанического сада – длинная, узкая, с одним окном в торце, вся сплошь заставленная разнокалиберными горшками с растениями, большинству которых я не знаю названий, но первое, что бросалось в глаза, – это густой слой пыли на каждом листе, так что зеленого тут не было ничего – все сплошь серое. Каждая плоскость в этой комнате была покрыта густым слоем пыли.

Пока Раиса Львовна стелила бывший кожаный диван – сразу справа от двери, я с ее согласия старалась что-то сделать с полом: возила по нему шваброй с мокрой тряпкой. Раиса Львовна извлекла откуда-то подушки, двумя из них заткнула яму в диване, искала, но не нашла белья и бодро застелила диван своим старым халатом; третью подушку обернула ночной рубашкой, положила ее в изголовье дивана, кинула вместо одеяла на это скорбное ложе какую-то ветошь и велела Саше ложиться. А ему уже было все равно, лишь бы лечь, только сумел ответить на вопрос Раисы Львовны, что бы он хотел на завтрак.

– Если можно – кефира. Только ради Бога, не беспокойтесь, если его не будет, – и провалился не то в сон, не то в забытье.

– Нет, ты подумай, – поражался он на следующее утро, когда я принесла ему кефир, я был уверен, что это невозможно! Я всегда прошу домашних купить мне кефир, а они всегда говорят мне, что его в магазине не было!

Я не знала, что ему на это ответить, все, что я могла бы ему сказать, было бы «грубым реализмом жизни».

Раиса Львовна еще некоторое время металась в сборах по квартире, давая мне на ходу разные наставления, но перед тем, как покинуть дом, поразила меня явлением совершенно беспримечательной хозяйственности.

Вообще кто-то когда-то потом сказал мне, что она была влюблена в Александра Аркадьевича. И это могло бы выглядеть диковато – прямая, подвижная, но крайне неухоженная женщина, лицо в морщинах, седые волосы собраны на макушке в кичку, на ногах какая-то старушечья обувь – ничто в ее облике не могло бы навести вас на мысль, что ей свойственны некие романтические настроения. Даже мысль о том, что у нее есть две взрослые дочери, не слишком с ней увязывалась. Но, наблюдая ее, довольно скоро можно было уловить у нее одну незаурядную черту – это способность чрезвычайно здраво концентрировать и направлять свою энергию на решение проблем, достойных внимания, и совершенно изолировать при этом проблемы, с ее точки зрения, недостойные каких-либо усилий. Я думаю, у нее, дочка академика, это свойство могло быть врожденным, но могло быть и благоприобретенным в детстве, благодаря жизни с прислугой, избавленности от всех неприятностей быта. Но как бы там ни было, она обладала естественной способностью отделять важное от пустяков: научная работа, защита двух диссертаций, профессорство – разумеется, это достойно усилий; грязь, пыль, тряпки, духи-помады – разумеется, никаких; достойными внимания могли быть книги, личности, знания, но не быт. Поэтому огромные банки с засоленной зеленью – в одной укроп, в другой – сельдерей и с третьей – петрушка, – извлеченные из холодильника, в котором, как потом выяснилось, больше ничего не было, сильно поразили мое воображение,

– Если у вас в доме больной, – сказала мне Раиса Львовна, – запомните, вам достаточно сварить бульон только из сельдерея, и человек получит все необходимое для восстановления сил.

И я запомнила.

Раиса Львовна ушла, я разделала на кухне цыпленка, и уже было собралась воспользоваться ее советом, как раздался звонок в дверь и в квартиру, как шаровая молния, влетел знакомый мне врач-психиатр по имени Миша. Мы бывали у него во время приездов Саши в Ленинград; в его квартире, расположенной прямо над рестораном «Кавказский» на Невском, Саша при полном сборе гостей опробовал на публике каждую новую песню и очень ценил эту возможность. Миша был хранителем огромной магнитофонной коллекции песен Галича.

Но, как многие врачи-психиатры, он был человеком не вполне нормальным. Влетел, растолкал Сашу и тут же стал рыться в своем потертom, набитom всякой всячиной портфеле. Вытащил какой-то заплесневелый батон, потом какие-то гаечные ключи, а потом завернутые в тряпицу ампулу и шприц.

Я говорю ему:

– Что вы собираетесь делать?

– Инъекцию! – отвечает. – И не беспокойтесь, я знаю, что делаю, я врач!

– Я, – говорю, – беспокоюсь, потому что у вас грязь под ногтями, вы должны вымыть руки.

– Глупости, – отвечает, – эта грязь органическая, безвредная, я просто возился с автомобилем.

Но я все-таки заставила его вымыть руки, однако мне не удалось подобрать ампулу – он завернул ее в тряпку после инъекции, и я так и не узнала, что он колол Саше. Но Саша заметно приободрился. И кстати. Потому что не успел Миша так же стремительно, как влетел, вылететь из квартиры, как вновь раздался звонок.

– Вика, откройте, – раздался голос Раисы Львовны. – Я забыла ключи.

Я открыла и увидела Раису Львовну с огромным букетом в руках, а за ее спиной толпу молодых людей.

– Это мои студенты, – спокойно и просто объяснила Раиса Львовна, – мы решили сегодня прервать лекцию и все вместе навестить Александра Аркадьевича. Эти цветы мне подарили ребята, поставьте их в вазу.

Неужели они подарили ей цветы за то, что она овладела полутрупом Александра Аркадьевича? И куда же они валют такой толпой? Я чувствовала себя сварливой, злобной домработницей при вальяжных, богемных господах, это ощущение тем более усилилось, что в то время как вся толпа повалила глазеть на Галича, внезапно раскрылась небольшая дверца в стене столовой, из нее появилась тонкая заспанная длинноволосая красавица в полупрозрачной сорочке до колен. Взглянув на меня совершенно невидящим, как на привычную мебель, взглядом прекрасных глаз, она прошла в коммунальный коридор, вероятно, в уборную, а из дверцы следом за ней появился «Иван Царевич» – тоже заспанный, тоже тоненький, высокий и прекрасный. И так же, не считая меня за предмет одушевленный, отправился вслед за принцессой.

Вернулись они вдвоем, уже когда студенты посовестливее повыкатились из комнаты Галича, и что меня утешило – принц и принцесса и по ним скользнули невидящим взглядом. Дверца в чертог закрылась за ними – и как не бывало их. Только Раиса Львовна сказала;

– Это Лизка, моя младшая, и любовник ее. Он из балетных.

Потом, когда все кончилось благополучно, вся эта фантазмагория с цветами, студентами и парящей над жизнью Раисой Львовной стала казаться мне смешной, но тогда все выглядело настоящим кошмаром, и перед тем, как уйти, я твердым голосом объявила, что сегодня же позвоню в Москву и вызову жену Александра Аркадьевича.

– Не делайте этого, – сказала Раиса Львовна. – Вы ее не знаете: это ужасная женщина. Я не хочу ее видеть.

После некоторого препирательства она согласилась:

– Только вы не звоните. Я сама. Но вы увидите, что из этого выйдет...

А вышло вот что.

Ангелина Николаевна выехала из Москвы в тот же вечер. Но зная, что винные магазины открываются не раньше одиннадцати, а поезд прибывает в семь с чем-то – это с одной стороны, а с другой – не зная, есть ли винный магазин вблизи дома Раисы Львовны, да и вообще не желая бегать за каждой бутылкой, она запаслась на первое время перед посадкой на поезд. И появилась в квартире Раисы Львовны с сумкой, загруженной шестью бутылками портвейна, одна из которых была, впрочем, уже почата. Эту бутылку ей удалось допить, а вот остальные Раиса Львовна спрятала. Вот такие у них вышли «москва-петушки» еще до моего появления.

Раиса меня встретила одной ногой уже за порогом, вся на взводе, не дав мне войти в квартиру, прошипела: – Подумайте, эта алкоголичка явилась к больному мужу с шестью бутылками портвейна! Я ей сказала: у меня не распивочная! Черта она их найдет! – уже с низу лестницы крикнула она и со страшной силой хлопнула дверью.

– Вы должны мне помочь! – едва познакомившись со мной, сказала Ангелина Николаевна, – Как вы думаете, куда эта старая ведьма могла спрятать мое вино?

Говорят, она когда-то была очень красива. Саша рассказывал, что за худобу и красоту у нее было прозвище «фанера милосская». Теперь это была не слишком, толстая, но далеко не худая женщина. В ее лице, да и во всей манере держаться было очень заметно то, что когда-то, вероятно, было значительностью, а теперь стало типичной для пьющих людей фанаберией – пустой, уже ничем не оправданной претензией.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.